

Да, это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах и в которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волосы, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к St.-Jérôme.

St.-Jérôme жил у нас уже полтора года. Обсуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Все это мне очень не нравилось. Само собою разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас; но, несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово *fouetter*¹ (как-то *fouatter*) так отвратительно и с такой интонацией, как будто высечь меня доставило бы ему величайшее удовольствие.

Я несколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее, но одна мысль, что St.-Jérôme может ударить меня, приводила меня в тяжелое состояние подавленного отчаяния и злобы.

Случалось, что Карл Иваныч, в минуту досады, лично расправлялся с нами линейкой или помочами; но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю (когда мне было четырнадцать лет), ежели бы Карлу Иванычу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенес был его побои. Карла Иваныча я любил, помнил его с тех пор, как самого себя, и привык считать членом своего семейства; но St.-Jérôme был человек гордый, самодовольный, к которому я ничего не чувствовал, кроме того невольного уважения, которое внушали мне все большие. Карл Иваныч был смешной старик, дядька, которого я любил от души, но ставил все-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения.

St.-Jérôme, напротив, был образованный, красивый молодой щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл Иваныч бранил и наказывал нас всегда хладнокровно, видно было, что он считал это хотя необходимою, но неприятною обязанностью. St.-Jérôme, напротив, любил драпироваться в роль наставника; видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слого, *accent circonflex'*ами, были для меня невыразимо противны. Карл Иваныч, рассердившись, говорил: «кукольная комедия, шалунья мальшик, шампанская мушка». St.-Jérôme называл нас *mauvais sujet*, *vilain garnement*² и т. п. названиями, которые оскорбляли мое самолюбие.

Карл Иваныч ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происшедшей от такого положения; St.-Jérôme, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: «*A genoux, mauvais sujet!*», приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении.

Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось; но я не мог забыть всего, что испытал; отчаяния, стыда, страха и ненависти в эти два дня. Несмотря на то, что с того времени St.-Jérôme, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спешил принять выражение равнодушия, но тогда мне казалось, что он понимает мое притворство, я краснел и вовсе отворачивался.

Одним словом, мне невыразимо тяжело было иметь с ним какие бы то ни было отношения.

1 Сечь (франц.)

2 Негодяй, мерзавец (франц.).

Léon Tolstoï, «L'adolescence»

Chapitre XVII, «La haine»

Oui, c'était un véritable sentiment de haine, non pas de cette haine que l'on décrit dans les romans, et à laquelle je ne crois pas, non pas de cette haine qui, dit-on, procure du plaisir à faire du mal aux autres, mais de cette haine qui vous inspire un dégoût insurmontable pour un homme qui, cependant, mérite votre respect, de cette haine qui fait que les cheveux, le cou, la démarche, le son de la voix, les membres, les gestes de cet homme vous font horreur, et qui, en même temps, vous attire à lui par une force inexplicable et vous fait suivre ses moindres actes avec une attention inquiète. C'est ce sentiment que j'éprouvais pour Saint-Jérôme.

Saint-Jérôme était chez nous depuis une année et demie. En songeant maintenant et avec sang-froid à ce personnage, je trouve que c'était un bon Français, mais français au plus haut degré. Il n'était pas sot, assez bien instruit, et remplissait honnêtement ses devoirs envers nous, mais il possédait les traits essentiels, communs à tous ses compatriotes, et si contraires au caractère russe, de l'égoïsme frivole, de la vanité, de l'effronterie, et de la fatuité ignorante. Tout cela me déplaisait beaucoup. Il va de soi que ma grand-mère lui avait donné sa façon de penser au sujet des châtiments corporels et qu'il n'osait pas nous battre, mais malgré cela, il menaçait souvent de nous donner les verges, surtout moi, et prononçait le mot « fouetter » (ou plutôt « fouatter») de façon si répugnante et avec une telle intonation, que fouetter semblait devoir lui procurer un plaisir extrême.

Je n'avais nullement peur de la douleur de la punition, et je ne l'ai jamais subie, mais l'idée seule que Saint-Jérôme pût me frapper me mettait dans un pénible état d'abattement, de désespoir et de rage.

Il arrivait que Karl Ivanovitch, dans un moment de mécontentement, nous corrigeât lui-même à coups de règle ou de bretelles ; mais de cela je me souviens sans la moindre amertume. Même à l'époque dont je parle (j'avais alors quatorze ans), s'il fût advenu que Karl Ivanovitch me frappât, j'eusse enduré ses coups avec résignation. J'aimais Karl Ivanovitch, je me souvenais de lui comme de moi-même depuis cette époque et j'étais habitué à le considérer comme faisant partie de la maison ; alors que Saint-Jérôme était une personne orgueilleuse, suffisante, pour laquelle je n'éprouvais rien, sauf le respect involontaire que m'inspirait tous les *grands*. Karl Ivanovitch était un vieillard drôle, un serviteur que j'aimais de tout mon cœur, mais que dans mon idée enfantine, je plaçais malgré tout en-dessous de moi quant à sa condition sociale.

Saint-Jérôme, au contraire, était un jeune dandy élégant et instruit, s'efforçant de se mettre au niveau de tout un chacun. Karl Ivanovitch nous grondait et nous punissait sans haine, on voyait qu'il considérait cela comme une devoir nécessaire, mais désagréable. Saint-Jérôme, en revanche, aimait à se draper dans le rôle du mentor ; on voyait qu'il nous punissait davantage pour son propre plaisir que pour notre bien. Il se complaisait dans son éloquence. Ses phrases françaises pompeuses, qu'il prononçait avec un fort accent sur la dernière syllabe, avec leurs accents circonflexes, étaient pour moi extrêmement déplaisantes. En se fâchant, Karl Ivanovitch disait : « comédie des marionnettes, graine de coquin, mouche d'Espagne ». Saint-Jérôme nous appelait « *mauvais sujet, vilain garnement* », et autres noms du même genre qui blessaient mon amour-propre.

Karl Ivanovitch nous mettait au coin à genoux, le visage vers le mur, la punition résidait dans la douleur physique provenant de cette posture. Saint-Jérôme, en bombant le torse et en faisant un geste majestueux de la main, criait d'une voix tragique : « *A genoux, mauvais sujet!* », ordonnait de se mettre à genoux le visage vers lui, et de demander pardon. La punition consistait dans l'humiliation.

On ne me punit pas, et personne ne put même me rappeler ce qu'il en fut de moi; mais je ne pouvais oublier tout ce que j'avais éprouvé pendant ces deux jours; le désespoir, la honte, la peur et la haine. Bien que depuis ce temps Saint-Jérôme se montrât tout à fait désespéré à mon égard, et ne s'occupât pratiquement pas de moi, je ne pouvais m'habituer à le regarder avec indifférence. Chaque fois que nos yeux se croisaient fortuitement, il me semblait que dans regard exprimait une hostilité trop manifeste, et je me hâtais de prendre un air indifférent, mais alors, pensant qu'il comprenait ma feinte, je rougissais et me détournais tout à fait.

En un mot, il m'était extrêmement pénible d'avoir avec lui quelque relation que ce fût.